

Последний пациент

— 2 КНИГА —
Анжела Абдуризакова



Анжела Абдуризакова

Последний пациент

«Автор»

2026

Абдуризакова А.

Последний пациент / А. Абдуризакова — «Автор», 2026

«Последний пациент» — психологический триллер о враче Артёме, который годами помогал другим справляться с травмами, но сам так и не смог пережить потрясение детства. В четырнадцать лет он беспомощно стоял на кухне, пока умирал отец, и с тех пор прятался за маской профессионала. Путь к себе начинается с терапии, откровенных разговоров и болезненных признаний — он учится отличать реальные воспоминания от искажённых, принимать свои ошибки и заново выстраивать отношения с бывшей женой, дочерью и пациентами. История о том, как перестать быть функцией и снова стать человеком: с болью, сомнениями, ошибками — и правом на исцеление. Это не рассказ о мгновенном выздоровлении, а о медленном, трудном движении от внутренней пустоты к живой, несовершенной, но настоящей жизни.

© Абдуризакова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПОСЛЕДНИЙ ПАЦИЕНТ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕАНС	6
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Анжела Абдуризакова
Последний пациент

ПОСЛЕДНИЙ ПАЦИЕНТ

Психологический триллер

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕАНС

Глава 1. Первичный приём

Есть вещи, которые я помню точно. И есть вещи, которые я помню так, как мне удобно. Разницу я уловил позже — гораздо позже, когда уже было поздно что-либо исправлять. Но начать, наверное, стоит с того, в чём я уверен. Хотя бы на момент начала этой истории.

Кабинет на третьем этаже, окно во двор. Серый дом на Подбельского, третий подъезд, кодовый замок, который я никогда не менял, хотя обязан был менять каждые полгода. Рядом с моим кабинетом — нотариальная контора, и по средам оттуда пахнет кофе и жареным луком. Не знаю, зачем вам это. Но я помню.

Семьдесят два клиента за четыре года частной практики. Из них закончили терапию — нормальным, здоровым образом, с чувством завершения — двадцать три. Это хороший процент. Я проверял по литературе. Средний процент завершения при амбулаторной психотерапии — около тридцати. У меня — чуть выше. Я гордился этим. Зря.

Лариса Дмитриевна Воронцова, сорок один год, пришла ко мне в феврале. Нет, в марте. В марте — я уверен, потому что за окном ещё лежал снег, но уже гнилой, рыхлый, и подоконник был покрыт грязными подтёками. Она села в кресло напротив, и я увидел, что она держит сумку обеими руками, прижимая её к животу, как щит. Я видел это много раз. Люди приходят и прячутся за чем угодно — за сумкой, за очками, за улыбкой, за позой «мне на всё наплевать». Сумка, прижатая к животу, — это страх. Страх, что изнутри что-то вылезет, если убрать преграду.

— Артём Сергеевич? — спросила она. Голос ровный, но в конце — вопросительная нотка, как будто она не была уверена, что правильно произнесла имя. Хотя имя простое.

— Да. Присаживайтесь.

Она уже сидела. Я сказал «присаживайтесь» по инерции — так я делаю всегда. И почти всегда пациент уже сидит. Мне кажется, или я заметил это только потом: она села раньше, чем я предложил. Всегда ли так было? Не помню.

Я достал бланк первичного приёма. Форма стандартная: ФИО, дата рождения, образование, семейное положение, жалобы, анамнез, сопутствующие заболевания, принимаемые препараты. Я заполнял всё это, пока пациент говорит, — не поднимая глаз, но слушая каждое слово. Есть в этом что-то нечестное: человек тебе доверяет, а ты пишешь. Но так работает каждый врач, и я не придумал систему.

Лариса Дмитриевна работала бухгалтером в строительной фирме. Среднее специальное, потом заочное высшее — экономика. Замужем, двое детей — мальчик пятнадцати лет и девочка одиннадцати. Живут в Кировском районе. Муж — водитель маршрутки. Она сказала «водитель маршрутки» так, будто это диагноз.

— Что вас привело ко мне?

Она помолчала. Потом сказала:

— Я не сплю.

— Давно?

— Полтора года. Может, больше.

— Что происходит, когда вы не спите?

— Думаю. — Она сжала сумку крепче. — Думаю о том, что могло бы случиться. Но не случилось. И о том, что случилось, но не должно было.

Я записал: «инсомния, руминации, возможное тревожное расстройство». Потом зачеркнул «возможное» — тревога была очевидной.

— Расскажите о том, что случилось, но не должно было.

Она посмотрела на меня так, будто я попросил её раздеться. Не от стыда — от невозможности. Как будто я попросил показать то, чему нет названия, и поэтому она не знает, с чего начать.

И тогда я совершил ошибку — первую из многих. Я сказал:

— У вас есть время.

У неё было время. У меня было время. Но это не значило, что время было на нашей стороне. Я уже знал это — теоретически, из учебников, из других случаев. Я не знал этого так, как узнал позже. Телом.

Лариса рассказала о матери. О матери, которая пила. О матери, которая была. О матери, которая запирала её в комнате на сутки, на двое, когда была особенно пьяна. О матери, которая называла её «ошибка». Не «ты ошиблась» — нет, «ошибка». Существительное. Имя.

— Меня зовут Лариса, — сказала она. — Но для неё я была Ошибка.

Я записал. Я не отреагировал эмоционально — я не должен. Терапевт — это контейнер, сосуд, в который пациент складывает то, что не может нести сам. Я принимал. Я складывал. Я кивал. Я говорил «я вас слышу» и «это важно, что вы об этом говорите». Это работало. Она стала приходить каждую неделю, потом — два раза в неделю.

Я помню, как она улыбалась, когда рассказывала о дочери. Маленькая, рыжая, с веснушками — «как цыплёнок». Лариса показывала фотографии на телефоне и каждый раз извинялась: «Вам, наверное, неинтересно». Мне было интересно. Мне всегда было интересно — в этом моя сила и моя беда. Я интересуюсь людьми слишком сильно. Ближе, чем должен. Так я потерял жену — но об этом позже. Или раньше. Я путаю.

Время — вообще странная штука. Когда я рассказываю эту историю — вам, себе, кому-то, — я выстраиваю его линейно: февраль, март, апрель. Но я не помню его линейно. Я помню пятнами. Я помню запах гнилого снега на подоконнике и то, как Лариса сжала сумку. Я помню свой телефонный звонок в декабре — но не помню, декабрь какого года. Я помню лицо дочери — но не помню, когда видел её последний раз. Когда я говорю «потом», я не знаю, что значит «потом». Может, между «потом» и «потом» прошло три месяца. Может, три дня. Я давно перестал доверять своему календарю.

Но тогда, в марте — я уверен, что в марте — я не знал ещё ничего этого. Я был врачом. Я делал свою работу. И Лариса Воронцова была моей пациенткой.

Только моей пациенткой.

Я клянусь. На тот момент — только пациенткой.

Глава 2. Привычный ход

Моя жизнь в тот год подчинялась ритму, который я сам создал и который сам же считал тюрьмой. Подъём в шесть тридцать. Кофе — чёрный, без сахара, из турки, которую мне подарила бывшая жена в первый год брака. Я продолжал ею пользоваться. Ирония не ускользала, но я её не замечал или делал вид, что не замечал.

В семь пятнадцать — выход. Маршрут до кабинета занимал двадцать три минуты пешком. Я шёл через парк, мимо школы, через двор дома номер четырнадцать, где всегда сидел один и тот же кот — серый, с ободранным ухом. Я не знал, чей он. Я звал его Стёпа. Мы не были близки, но он был единственным живым существом, которое меня ждало по утрам. Не в человеческом смысле — он просто спал на одной и той же скамейке. Но мне этого хватало.

Приём с девяти. Обычно четыре-пять пациентов в день, по пятьдесят минут, с десятиминутными перерывами. Сверхурочных я не брал — научился, после того как однажды прорабо-

тал с пациентом три часа и потом три дня не мог встать с дивана. Это называлось выгоранием. Я знал название, но название не помогало.

Вечером — если у меня не было дочки — я возвращался в квартиру на Малой Садовой. Двухкомнатная, с высокими потолками и запахом сырости, который я не мог вывести ничем. Я не включал свет. Не потому что депрессия — хотя, может, и поэтому. Я просто привык к темноте. В темноте вещи выглядят так, как я их помнил, а не так, как они есть. Это меня устраивало.

Дочка — Маша, девять лет — приезжала ко мне каждую вторую субботу. Привозила мать, Ольга Сергеевна, моя бывшая жена. Ольга не выходила из машины. Она держала руль и смотрела вперёд, пока Маша шла к подъезду. Я смотрел из окна второго этажа — нашей квартиры на Малой Садовой, до того как я переехал. Нет, я уже переехал. Значит, я смотрел из окна квартиры на Малой Садовой? Нет. Я путаю.

Вот видите — я уже путаю. И это не литературный приём, не задуманная ненадёжность рассказчика, нет. Это настоящая ненадёжность. Я не помню, из какого окна я смотрел на то, как бывшая жена привозит дочь. Может, из окна на Малой Садовой. Может, из окна кабинета на Подбельского. Может, я не смотрел из окна — может, я стоял внизу, у подъезда. Я не помню. И если я не помню такой простой вещи — как я могу доверять себе в более важных вопросах?

Но тогда я не задавал себе этого вопроса. Тогда я жил. Ходил на работу. Принимал пациентов. Ел в кафе «У Галины» — борщ и компот, каждый день, потому что боялся нового. Новое — это опасно. Новое — это то, что ломает порядок. А порядок — то единственное, что держит меня вертикально.

Маша приезжала, и мы играли в «Монополию». Я всегда давал ей выигрывать. Она знала и притворялась, что не знает. Мы оба притворялись — и это, наверное, было самым честным в наших отношениях. Притворство, на котором мы сошлись добровольно.

Ольга звонила по вечерам — не каждый, но часто. Разговор длился от двух до пяти минут и всегда заканчивался фразой «передай, что я звонила». Это значило: «Я всё ещё здесь. Я всё ещё жду, что ты что-то скажешь». Я не говорил. Я не знал, что сказать. Не потому что не хотел — а потому что слова, которые были у меня для Ольги, все до единого были неверными. Любое слово, которое я произносил, звучало не так. Я проверял.

С отцом Маши — то есть со мной — тоже было непросто. Я знал это теоретически. Я читал её школьный дневник, когда она забывала его у меня. Записи учителей: «Маша рассеянна на уроках», «Маша отвлекается», «Просьба поговорить с ребёнком о дисциплине». Я не говорил. Я не умел говорить с тем, кого люблю. Я умел говорить с тем, кто мне доверяет профессионально. С чужой болью я справлялся. Со своей — нет.

Лариса пришла второй раз через неделю. Она принесла мне шоколадку — молочный шоколад с фундуком, в зелёной обёртке. Я поблагодарил и отложил в ящик стола. Пациенты часто приносят подарки на первых сеансах — это способ установить контроль. Дарящий чувствует, что ему должны. Я это знал и не злился. Но шоколадку съел вечером, дома, в темноте, сидя на полу на кухне. Не знаю, почему на полу. Наверное, потому что стул был слишком похож на кресло в кабинете.

На втором сеансе Лариса рассказала о муже. Он не бил — она подчеркнула это дважды. «Он не бил». Я спросил:

— Но?

— Но он не слышит. — Она помолчала. — Я могу сказать ему что-то, и он кивнёт. И я знаю, что он не услышал ни слова. Он кивает, потому что так проще. А потом, через месяц, происходит то, о чём я говорила, — и он удивляется. Он говорит: «Ты мне не говорила». А я говорила. Я точно говорила.

— И как вы себя чувствуете, когда он говорит, что вы не говорили?

— Как будто меня нет.

Она сказала это ровно. Без драмы. Как констатацию. И именно это меня зацепило — ровность. Она уже давно решила, что её нет. Она пришла ко мне не для того, чтобы я помог ей стать. Она пришла, чтобы я подтвердил, что она есть. И я не знал, смогу ли.

Мы работали. Терапия травмы — это медленное дело. Мы не шли в травму сразу — я не пускаю туда в первые недели. Сначала — ресурсы. Опоры. Что держит? Кто держит? Дочь, сын — да. Работа — нет, работа изматывает. Подруга — одна, Наташа, с детства. Муж — нет. Мать — нет, мать умерла четыре года назад, и на похоронах Лариса не плакала.

— Не плакали?

— Нет. — Она посмотрела на меня. — Я знаю, что это ненормально. Я читала.

— Я не спрашиваю, нормально это или нет. Я спрашиваю — как вы это объясняете для себя.

Она задумалась. Потом сказала:

— Я думаю... — Она запнулась. — Я думаю, что если я начну плакать, я не остановлюсь. А мне нельзя останавливаться. У меня дети. Работа. Мне нужно... функционировать.

— А кто будет плакать, если не вы?

— Никто. — Пауза. — Может быть, вы?

Я не ответил. Это был хороший момент — перенесение, может быть, или просто усталость. Я должен был вернуться к этому позже. Но я не вернулся. Не потому что забыл — я не забывал. Я не вернулся, потому что не хотел. Потому что её вопрос тронул что-то, что я не мог позволить себе трогать. Кто будет плакать, если не я? Я не плакал с четырнадцати лет. С того дня, когда...

Нет. Об этом — позже.

Я скажу только: когда Лариса спросила «может быть, вы?» — я впервые посмотрел на неё не как на пациента. Я посмотрел на неё как на человека, который задал вопрос, на который я сам не знал ответа. И это было началом.

Я не заметил начала. Никто не замечает начала. Начало видно только из конца.

Глава 3. Трещины

Апрель. Или май. Я помню, что деревья уже зазеленели, но воздух был ещё холодный — такой весенний холод, когда солнце есть, но тепла нет, только обещание.

Лариса пришла на сеанс с синяком на запястье. Я заметил не сразу — она носила длинные рукава, но когда потянулась за стаканом воды, рукав задрался. Синяк был старый, жёлто-зелёный, дней пять-шесть. Я не спросил. Я должен был спросить. Протокол обязывает. Но я не спросил, потому что уже знал ответ — или думал, что знал.

Муж. Водитель маршрутки. Не бил — она говорила. Но.

Я записал в карте: «синяк на левом запястье, не вербализован пациенткой». И ничего не сделал. Я мог поднять тему на следующем сеансе. Мог спросить напрямую. Мог использовать проективные техники. Я выбрал ничего. И это была моя вторая ошибка. Первая — «у вас есть время». Вторая — молчание.

Почему я молчал? Я задавал себе этот вопрос. И отвечал: потому что доверял ей. Потому что верил, что она скажет, когда будет готова. Это была правдивая ложь. Правдивая — потому что я действительно так думал. Ложь — потому что под этим было другое.

Я боялся.

Не её. Не мужа. Я боялся, что если задам вопрос, она ответит. И тогда я должен буду что-то сделать. Не просто слушать — делать. Звонить. Писать. Направлять. Строить. Защищать. А я не умел защищать. Я умел слушать. Я умел сидеть в кресле и кивать. Я не умел вставать.

Это вообще моя проблема — вставать. В прямом и переносном смысле. Я могу сидеть долго — на диване, на полу, в кресле. Я могу лежать. Но вставать — это усилие, которое мне

не всегда по силам. И я не говорю про депрессию — или говорю, но не только про неё. Я говорю про что-то более глубокое. Про то, что сидеть — это позволить миру двигаться без тебя. Лежать — это позволить миру забыть о тебе. А встать — это войти в мир, и мир тебя увидит, и ты будешь за это отвечать.

Я не хотел отвечать. За Ларису — не хотел. У меня было достаточно ответственности. Маша. Ольга, которая «передай, что я звонила». Пациенты, по пятьдесят минут, с десятиминутными перерывами. Я был полон. Я был переполнен. И Лариса со своим синяком — это была капля, после которой я бы перелился.

Я не перелился. Я промолчал. И синяк сошёл. И я решил, что обошлось.

Но трещины — они же не появляются от одного удара. Они появляются от напряжения. От того, что структура несёт нагрузку, на которую не рассчитана. Я был такой структурой. Я нёс — и трескался.

В мае — я уверен, что в мае, потому что я делал записи в карте и ставил даты — Лариса рассказала о брате. Брат — старший, на семь лет. Когда ей было шесть, ему было тринадцать. Мать пила и спала, а брат «играл» с ней. Она сказала «играл» с такой интонацией, что я понял. Я не переспросил. Мне не нужно было переспрашивать — я знал, о чём речь. Инцест. Сексуальное насилие. Ребёнок над ребёнком, но разница в возрасте и власти — семь лет, и это пропасть.

Она рассказала это за тридцать секунд. Тремя предложениями. Голос не дрогнул. Она смотрела в окно. Потом повернулась ко мне и спросила:

— Вы сейчас меня ненавидите?

— Почему я должен вас ненавидеть?

— Потому что я грязная.

Я сказал правильные слова. Я сказал: «Вы не грязная. С вами сделали то, чего вы не должны были делать. Вы не виноваты». Я говорил это раньше — другим, много раз. Но с другими это звучало как формула. С Ларисой — нет. С Ларисой каждое слово застревало в горле, потому что я видел — она мне не верит. Она слышит слова, но слова проходят сквозь, как вода сквозь песок. Она уже давно решила, что виновата. И мои слова — это просто шум.

Я не мог это исправить. Я не мог войти в неё и перестроить. Я мог только сидеть и повторять. И я повторял. Сеанс за сеансом. «Вы не виноваты». «Вы были ребёнком». «Вы не могли остановить». И каждый раз — её глаза, в которых ничего не менялось.

Но что-то менялось во мне. Я стал ловить себя на том, что думаю о ней вне сеансов. Не о её случае — о ней. О том, как она идёт по улице. О том, что она ест на обед. О том, спит ли она — и если не спит, то о чём думает в три часа ночи. Это называлось контрпереносом. Я знал. Я читал. Я должен был пойти к супервизору. Я не пошёл.

Я не пошёл к супервизору, потому что знал, что мне скажут. «Артём, ты слишком близко. Отойди. Вернись на дистанцию. Вспомни, кто ты». И я не хотел отступать. Впервые за четыре года практики я не хотел отступать.

Почему? Потому что Лариса задала мне вопрос, на который я не мог ответить. «Может быть, вы?» — может быть, я. Может быть, я буду плакать за неё. Может быть, я буду чувствовать за неё — потому что она разучилась, а я — нет. Может быть, я буду её рельефом, её дренажем, её вентиляцией. И в этом будет смысл — мой смысл, которого у меня не было.

Я не был влюблён. Я хочу, чтобы это было ясно. Я не был влюблён в Ларису Воронцову. Я не хотел её — ни как женщину, ни как партнёра, ни как друга. Я хотел быть нужным. Это другое. Это хуже.

Влюблённость проходит. Потребность быть нужным — остаётся. Она как костыль: пока ты на нём, ты ходишь, но мышцы атрофируются. И когда костыль убирают — ты падаешь.

В тот же май — или это был июнь, я не помню, но помню, что было жарко — Ольга позвонила и сказала, что не будет привозить Машу в субботу. Она сказала это так, будто говорила «не будет дождя». Ровно, мимоходом, без паузы для вопроса.

— Почему? — спросил я.

— У Маши соревнования. По плаванию.

— С каких пор Маша занимается плаванием?

— С марта.

Март. Лариса пришла в марте. Маша пошла в бассейн в марте. Совпадение. Но я отметил его — не тогда, позже. Я отмечал всё позже. Тогда я просто спросил:

— Почему ты мне не сказала?

— А ты спросил бы?

Молчание. Она была права. Я не спросил бы. Я не спрашивал. Я не знал, чем занимается моя дочь, в каком она классе — нет, это я знал, третий. Но я не знал, какой у неё учитель, кто её друзья, что она ест на завтрак, боится ли темноты. Я не знал, потому что не спрашивал. Я работал. Я принимал. Я сидел в кресле и кивал. А дома я лежал и смотрел в потолок.

— Я приеду на соревнования, — сказал я.

— Не надо.

— Почему?

— Потому что ты приедешь и будешь смотреть на неё, как на пациента. Как будто она — случай.

Я хотел возразить. Но не мог. Потому что она была права. Я смотрел на Машу — иногда — и видел пациента. Я видел её тревожность, её тики, её привычку грызть ногти, её молчание за ужином. Я видел симптомы. Я не видел дочь.

Это страшно, когда тебя видят насквозь. Но ещё страшнее, когда тебя не видят совсем. Ольга видела меня насквозь и поэтому ушла. Маша не видела меня совсем — и потому что не могла, и потому что я не давал.

Я повесил трубку. Сел на пол. Шоколадка, которую принесла Лариса — давно съеденная, но обёртка лежала в ящике стола. Я достал её. Зелёная, с фундуком. Я понюхал обёртку. Пахло бумагой и чем-то сладким, неуловимым. Я сложил её обратно и закрыл ящик.

Это был вечер вторника. В среду утром я встал, сварил кофе, дошёл до кабинета, кивнул Стёпе — он спал, — и принял первого пациента. Потом второго. Потом — Ларису.

Лариса пришла и села. Руки на коленях. Без сумки — впервые без сумки. Я заметил и не придал значения. Или придал — но не тогда. Позже.

— Я решила, — сказала она.

— Что решили?

— Я ухожу от мужа.

Я должен был обрадоваться. Или испугаться. Или спросить, как. Я спросил:

— Почему?

— Потому что вы сказали, что я не виновата. И если я не виновата — значит, я могу.

Она улыбнулась. Я не видел, чтобы она улыбалась раньше, и от этого мне стало тепло и страшно одновременно — тепло, потому что улыбка была живая, настоящая, не социальная маска; страшно, потому что улыбка была обращена ко мне. Не к миру — ко мне. Я был её причиной. Я, своими словами, сдвинул что-то внутри неё. И если я ошибся — если слова были неверными, если я что-то упустил, — она разобьётся.

Я не хотел быть причиной. Я хотел быть наблюдателем. Но наблюдатель — это тоже ответственность. Я не учёл этого.

— Лариса, — сказал я. — Это серьёзное решение. Вы обдумали его? У вас дети.

— Дети видят, что мать несчастна. Это хуже, чем развод.

— Как муж отреагировал?

— Я ещё не сказала.

— То есть вы решили, но не сообщили.

— Я решила для себя. Сообщить — следующий шаг.

Я кивнул. Я записал: «решение о разводе принято, но не реализовано». И подумал: это хорошо. Она действует. Терапия работает. Я хороший терапевт. Мне стало спокойно. На пятьдесят минут — спокойно. Потом она ушла, и спокойствие ушло с ней.

Я остался в кабинете. Я посмотрел на кресло, где она сидела. Кожаное, коричневое, со следами от ручек и потёртостями. Я купил его на Авито за три тысячи рублей, когда открывал практику. Оно было удобным — для пациентов. Для меня — нет. Моё кресло было жёсткое, ортопедическое, без подлокотников. Я сидел в нём как на стуле — прямо, напряжённо. Я не расслаблялся. Врач не расслабляется.

Но в тот вечер, после Ларисы, я пересел в её кресло. Коричневое, кожаное, мягкое. Я сел и откинулся. И почувствовал её — не запах, не тепло, а что-то другое. Впечатление. Она осталась в кресле, как остаются отпечатки на мокром песке. Я сидел в её отпечатке и смотрел на своё пустое кресло напротив.

И мне показалось — мне показалось, я уверен, что мне показалось, — что в моём кресле сижу я. Но не я. Другой я. Тот, который не встаёт. Тот, который лежит на полу и ест шоколад в темноте. Тот, который не знает, в каком классе его дочь.

Я встал. Пошёл домой. Лёг на пол. И не ел шоколад, потому что шоколада не было. Но обёртка была. Зелёная, с фундуком.

Глава 4. Прогресс и регресс

Лето — оно всегда смешивает всё. Жара делает воспоминания вязкими, как мёд. Я помню июль пятнами: жёлтые обои в коридоре кабинета, мокрые от пота ладцы пациента с паническими атаками, звонок Ольги — «Маша спрашивает, когда ты приедешь». Я не приехал. Не потому что не хотел. Потому что забыл, в какую субботу. Я путал чётные и нечётные недели. Я мог проверить в телефоне, но не проверял, потому что откладывал, а отложенное забывается.

Лариса летом пришла с загаром. Я не сразу понял, что это значит, — она никогда не говорила об отдыхе. Потом она рассказала: съездила с детьми на море, в Темрюк. Десять дней. Муж остался дома — «работает». Она сказала «работает» с той же интонацией, с какой раньше говорила «не бьёт».

— Как море? — спросил я.

— Маша — дочь — боится волн. Она входит по щиколотку и стоит. Не дальше. Я пытаюсь её тащить — она кричит.

Маша. Её дочь — тоже Маша. Одиннадцать лет. Рыжая, как цыплёнок. Я видел фотографии. Я знал её лицо — но только по фотографиям, которые Лариса показывала на телефоне. Знал, что у неё веснушки на носу и косички, всегда две, с разными резинками — одна красная, одна синяя.

— А сын?

— Олег? Олег был в восторге. Он плавает как рыба. Пятнадцать лет — и уже взрослый. Он взял напрокат сапборд и стоял на нём часа три. Я сидела на пляже и смотрела на него. И думала: вот он — доказательство. Доказательство, что я сделала что-то правильно. Не всё — но что-то.

— Что именно?

— Родила. Воспитала. Не сломала.

— Вы говорите это так, будто это мало.

— А это много. Моя мать не смогла.

Я записал. Потом зачеркнул. Не запись — я зачеркнул мысль. Я подумал: «А я смог?» — и зачеркнул. Это не про меня. Это про неё. Я должен держать границу. Я держал. Я держал границу — но граница держала меня. Как стена, о которую я опирался спиной, чтобы не упасть. Если бы стену убрали — я бы упал. И я это знал. И Лариса, может быть, знала тоже.

Сеансы шли — два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Лариса говорила больше. Я — меньше. Это хороший знак в терапии: пациент находит голос, терапевт замолкает. Я замолкал. Но моё молчание было не терапевтическое — оно было защитное. Я молчал, потому что если бы я заговорил, я бы сказал что-то не то. Что-то из своего. Что-то, что не имеет отношения к Ларисе.

А что имеет отношение ко мне? Отец. Четырнадцать лет. Пол. Кровь. Я не думал об этом. Я не думал — я знаю, что не думал, потому что если бы думал, я бы не работал. Я бы лежал. Я лежал — но недолго. Я вставал. Я ходил. Я принимал. Я кивал. Я говорил правильные слова. Я был функцией.

Функция не может сломаться, пока она работает. Я работал.

Лариса в августе сказала мужу, что уходит. Он, по её словам, кивнул. Кивнул — как всегда. Он не услышал. Она собрала вещи — нет, она не собрала. Она сказала, и он кивнул, и ничего не изменилось. Она ждала, что он взорвётся — будет кричать, бить, ломать. Он не стал. Он кивнул и пошёл на работу.

— И что вы чувствуете? — спросил я.

— Я чувствую, что я — призрак. Говорю — и не слышат. Кричу — и не видят. Ухожу — и не замечают.

— Вы не призрак. Вы — здесь. Со мной. Я вас вижу.

— Вы меня видите, — повторила она. — Вы — единственный, кто видит.

Это был момент, когда я должен был сказать: «Я вижу вас как пациентку». Я не сказал. Я молчал. Молчание было согласием. Согласием с чем? С тем, что я — больше, чем врач. С тем, что я — единственный, кто видит. Это было сладко. И сладость — это первый признак того, что ты падаешь.

Я падал. Медленно. Как осенний лист — не камнем, а кружась, цепляясь за ветки, пытаюсь вернуться. Но гравитация сильнее веток.

В сентябре — я уверен, что в сентябре, потому что начался учебный год и Маша пошла в четвёртый класс — Лариса пришла с разбитой губой.

Глава 5. Разбитая губа

Сентябрь. Листья ещё не опали — жёлтые, полупрозрачные, как пергамент. Я помню этот день — помню отчётливо, ярче, чем соседние дни. Вот в чём странность памяти: я не помню тысячи обычных дней, но этот — помню каждый звук, каждый запах, каждый свет.

Лариса вошла и не села. Она стояла у двери. Губа — нижняя, слева — разбита. Ссадина свежая, с корочкой, но не опухшая. Удар — точечный. Не кулак. Не ладонь. Что-то мелкое, твёрдое. Кастет? Нет. Ключ? Может быть. Или дверца — дверца машины.

— Садитесь, — сказал я.

Она не села. Она стояла и смотрела на меня. Глаза — сухие. Как в тот раз, когда говорила о матери. Сухие, как камни.

— Кто? — спросил я.

— Муж.

Я встал. Впервые за четыре года я встал во время сеанса. Я подошёл к ней. Я хотел... я не знаю, что я хотел. Помочь? Защитить? Обнять? Я не сделал ничего — остановился в полуметре. Но я встал. И это уже было нарушением — врач не встаёт. Врач сидит и кивает. Врач — это функция, а функция не имеет ног.

— Когда?

— Вчера. Вечером. Я сказала, что подала на развод. Он не кивнул.

— Он ударил.

— Он сказал: «Ты никуда не уйдёшь». И ударил. Кулаком. Вот сюда. — Она тронула губу и поморщилась. — Потом сел на диван и включил телевизор.

— Дети?

— Не видели. Олег у друга. Маша спала.

— Вы в безопасности сейчас?

— Я у Наташи. Подруги. С детьми.

— Я имею в виду — юридически. Вы подавали?

— Да. Заявление в мировой суд. Но он... — Она замолчала. — Он сказал, что если я уйду, он заберёт детей. Что я — ненормальная. Что я лечусь у психиатра.

— Психолога, — поправил я. И тут же понял, что поправлять было незачем. Она знала разницу. Она сказала «психиатра» — потому что для мужа это звучало так. Для мужа я — психиатр. Тот, кто подтверждает, что она ненормальная.

— Лариса, — сказал я. — Вы должны обратиться в полицию.

— Я не могу.

— Почему?

— Потому что он скажет, что я сама. Что я упала. Что я была пьяна. А я — ненормальная, которая у психиатра. Кому поверят?

Она была права. Я знал, что она права. Я работал с женщинами, пережившими насилие, и я знал, как это работает. Заявление — если примут — развалится в суде. Свидетелей нет. Синяки снимут — но через три дня они сойдут. Слово против слова. И слово мужа — водителя, трезвого, с работой — весит больше, чем слово жены, которая «лечится у психиатра».

Но я должен был что-то сделать. Я должен был встать. Я встал — в прямом смысле. Я должен был встать — в переносном. Сделать. Позвонить. Направить. Защитить.

Я не сделал.

Я сел обратно. Я достал бланк. Я записал: «физическое насилие со стороны мужа, повреждение губы, удар кулаком, угроза забрать детей». Я подписал. Поставил дату. Это была моя работа — записать. И я записал.

А потом я сказал:

— Я рекомендую вам обратиться в кризисный центр. У нас в городе есть «Дон без насилия». Я дам вам телефон.

Я дал ей телефон. Она взяла. Сложила в сумку — ту самую, которую прижимала к животу на первом сеансе. Но сейчас она не прижимала. Она просто сложила.

Она ушла. Я остался. Я сидел в своём жёстком кресле и смотрел на её коричневое кресло. Я не пересел в него — в тот раз нет. Я остался в своём. И думал.

Я думал о том, что я — трус. Это не новое слово — я знал его. Но раньше оно было абстрактным. Трус — это тот, кто боится. Я боялся — но кого? Не мужа Ларисы. Не полиции. Не суда. Я боялся, что если я сделаю больше — напишу заявление сам, позвоню в опеку, выйду из своей роли, — то всё рухнет. Мой порядок. Мой ритм. Моё «семьдесят два клиента за четыре года, двадцать три закончили». Мой кот Стёпа, мой кофе из турки, моя шоколадка в ящике стола.

Я боялся, что если я встану по-настоящему, мне придётся стоять. А я не умел стоять. Я умел сидеть. И лежать. И кивать.

Трус — это не тот, кто боится. Трус — это тот, кто знает, что нужно делать, и не делает.

В тот вечер я не пошёл домой. Я пошёл в кафе «У Галины» — нет, оно было закрыто. Я пошёл в другое место. Бар? Нет. Я не пью. Я не пил с...

С четырнадцати лет.

Я пошёл в парк. Сел на скамейку. Не ту, где Стёпа, — другую. И сидел. Один час? Два? Не помню. Я сидел и смотрел, как листья падают. Жёлтые, полупрозрачные. Они падали и ложились на землю, и никто их не поднимал. И мне хотелось быть листом. Просто падать. Без ответственности. Без выбора. Без кресла, в котором кто-то сидит и ждёт, что ты скажешь правильное слово.

Но я не лист. Я — человек, который держит чужую жизнь в руках. И в тот вечер я не знал, смогу ли её удержать.

Я позвонил Ольге. Она не взяла трубку. Я не оставил сообщение. Я повесил трубку и пошёл домой. Лёг на пол. Кухня, линолеум, холодный. Я лежал и смотрел в потолок. На потолке было пятно — от протечки, старое, в форме рыбы. Я смотрел на него и думал: если рыба поплывёт, я встану. Рыба не поплыла.

Глава 6. Часы

Октябрь. Ноябрь. Время — как вода из-под крана: течёт, и ты не замечаешь, пока не затопишь соседей.

Я продолжал принимать пациентов. Не только Ларису — других тоже. Мужчина с паническими атаками — Андрей, тридцать шесть, программист. Женщина с ОКР — Светлана, двадцать девять, учитель. Подросток с селфхармом — Костя, шестнадцать. Я работал с каждым — по протоколу, по методике, по книгам, которые прочитал и которыми был вооружён. Я был хорошим врачом. Я хочу, чтобы это было записано — я был хорошим врачом. Я делал свою работу.

Но параллельно — фоном, как шум машин за окном — шла Лариса. И фон постепенно становился передним планом.

Она не уходила от мужа. Не ушла. Подала на развод — но отозвала. Или не отозвала — я не помню. Я помню, что она перестала говорить об уходе. Она говорила о другом — о детях, о работе, о Наташе, о книге, которую читала («Голод», кто-то современный, я не читал). Она говорила о мелочах, и в этом был прогресс — или регресс. Прогресс, потому что она перестала говорить только о боли. Регресс, потому что боль не ушла — она спряталась. А спрятанная боль опаснее открытой.

Я должен был спросить: «Что случилось с разводом?» Я не спросил. Я не спросил, потому что боялся ответа. Потому что если она скажет «я передумала», это будет значить, что моя терапия не работает. А если скажет «он запретил», это будет значить, что я должен действовать. А я не мог действовать. Я мог сидеть.

Я сидел.

В ноябре — я уверен, что в ноябре, потому что выпал первый снег и я помню, как он лежал на подоконнике в кабинете, — Лариса пришла с чем-то новым. Не с синяком. С чем-то другим. Она села и сказала:

— Я хочу попросить вас об одолжении.

— Каком?

— Не записывайте сегодня.

Я отложил ручку. Я посмотрел на неё. Она смотрела на меня — и в её взгляде было что-то, чего я не видел раньше. Не страх. Не боль. Просьба. Просьба, обращённая не к врачу — к человеку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.